Агу[1]

ОНА ВСКИНЕТ ресницы, шепнет: «Вот те на!».
И, как в старые добрые времена,
остановит пролетку на полном скаку,
будто Митенька Карамазов.
Я же буду стоять без больших идей
в это новое время чужих людей,
в голове вместо мыслей: «Агу, агу».
И совсем никаких рассказов.
Она скажет, что нового. Спросит: «Эй,
как живешь ты во время чужих людей?».
Ты в остроге был, и велик острог,
но ты гостем был — дело доброе.

Я в остроге был. Невелик острог.
Приоскольский пряничный теремок,
на замок закрыт, на большой замок.
Запускали нас ровно по трое.
Не с того, конечно же, этот сплин –
там грехи, как ласточки, подросли,
и взлетают ввысь и пронзают синь,
обреченные на смирение.

Большинству из них нет путей-дорог –
соберутся в храм, завернут в острог,
остановят пролетку, шепнут: «Спаси».
В непрощеное воскресение.

[1] В октябре 2010 года в рамках фестиваля «Бабье лето» в Новом Осколе автору довелось побывать в женской колонии для несовершеннолетних, многие из которых осуждены по 105 статье. В остроге, существующем с Екатерининских времен.

Попутчица

...А ЕЙ УЖЕ все равно, как движется время,
и что сегодня творится в Загребе или в Каире.
Главное — завтра дождь, а значит, опять колени,
и ладно бы отмолила... Ехать часа четыре
до Владимира, потом рейсовым по бездорожью,
по безлюдью, по российскому безграничью...
Пробежала жизнь не озерной дрожью –
был и страх, и страсть, и пернатость птичья...

«Когда в 41-м Илюшка пришел с войны,
ну да, без ноги, да кто ж тогда целым был?
Нам счастья выпало больше каким иным –
соседа вернули парализованным,
только глазами вертит туда-сюда,
Людка — жена его — плакала целы дни.
Годы такие — в каждом дворе беда,
в каждом доме... Господи, не верни...

В 49-м, страшный ненастный год,
взяли Илью-то, пишут, мол, истый враг,

помню — уводят, а у солдатика рот,
будто у барышни, но отпечатан шаг.
Что-то насвистывал и в сапоги глядел,
брызгали блики от чищенных тех сапог.

А на скатёрке как-то ненужно рдел
орден военный... Да что там, прости их Бог...

А Ленинград довоенный тот жил так жил!
Всюду извозчики, Невский, песни Утесова.
Ох, сколько потом из людей потянули жил
по плану по этому, как бишь его —
барбароссову...
Тетка моя по блокаде в могилу сошла,
не дождалась горемычная, не утерпела.
На Знаменской площади церковь когда-то была,
да вроде сгорела...».

...А ей уже все равно как движется время,
и старость ее прозрачна, и мысли светлы,
но рядом все бродят, к себе призывая, тени...
И главное — завтра дождь...

Барон М

О, МОЙ БАРОН, ну дайте же совет –
вам по плечу такие переделки,
ваш мелкий бес, а, может, ангел мелкий
отвел от треуголки сотни бед.
Ну да, барон, в сиятельной Москве
совсем другие ценности и цели,
здесь всем плевать в веригах ты, в венце ли
иль с косточкой вишневой в голове.
А, может, утром вылез из кита,
как многие выходят из квартиры,
и, окунувшись в совершенство мира,
самим собой легко быть перестал.
А что, барон, столичное метро
похоже на разъевшегося спрута?
Раскатами кремлевского салюта
по крыше бьет чугунное ядро,
но кто-то скажет: просто майский гром,
и вой в трубе не плач гигантских кошек.
Барон, ваш век так безвозвратно прожит
и даже не отложен на потом.
О, мой барон, ну дайте же совет
как вырваться со всех кругов московских,
но ваш сюртук от беспрерывной носки
меняет и название и цвет,
и вот уже совсем другой фасон:
был невысок, а сделался верзилой.
Но где-то между львом и крокодилом
вы так непобедимы, мой барон.

Пешка. Немного шахматное

КАЖЕТСЯ, ЧТО времени вагон
плюс отдельно взятая тележка.
Шахматный штурмует полигон
на престол нацеленная пешка.
Рост карьеры с уровня е-2
на вдали мерцающий е-8...
Льет неделю, словно из ведра,
видно наверху случилась осень.

Шаг вперед по лаковой доске...
НЕ дал бог ей хитрых загогулин –
пешкина судьба на волоске.
Главное, чтоб наши не продули.
И храни, господь, храни царя,
эту бестолковую фигуру...
Пушки беспорядочно палят
в желтоватом круге абажура.

Виден край, за ним — концлагеря,
офицеры пьют за новый имидж,
обсуждают горе-короля,
мол, с таким полцарства не поднимешь,
полноват, труслив, коротконог...
Будет мат, и не таких ломали.
И, устроив палец на курок,
разбежались по диагонали.

Кажется, что времени вагон.
За спиной — король по клеткам скачет.
Пешке не положено бегом,
пешке не положено иначе.
Пешкина волнуется родня,
что-то говорили о гамбите...
«Помолитесь, братья, за меня,
помолитесь, братья, на санскрите».

Поэты живут недолго

ПОЭТЫ ЖИВУТ НЕДОЛГО, даже если
живут лет до́ ста,
поэт разбазарит бога и станет чуть ниже ростом,
он будет трындеть уныло, что гений не каждый
третий,
что постные эти рыла он видел вчера в буфете –
они некультурно пили, а Кексов уснул
в салате...

Какие тут к черту крылья, кругом — алкаши
и бляди.
Потянет в народ поэта трясти над толпой
исподним,
ввернет ни к селу про Лету, помянет пути
господни.
Он будет блудлив, как в двадцать, он скажет
гражданке: «Леди...»,
а после трамвайным зайцем на ней
в воскресенье въедет.
Проснется с утра бездонным, безвременным,
словно Хронос,
и, глядя на крест оконный, поэт затоскует
в голос.
Его ли гражданской музе постигнуть творца
печали
да всех постаревших крузо, которые одичали
в буфетах Большой Никитской, любя
плоскогрудых пятниц –
ползущие шелком лица в руках бытовых
сумятиц...
Поэты живут недолго, без всяких конкретных
«даже».
Поэт, побывав на Волге, о ней поэтично скажет,
и снова ввернет про Лету, и снова проснется
с дамой,
шекспировские вендетты поэту не по карману,
поэту не по роману, поэту не по поэту...
Поэт разбазарит бога в порядке ночного бреда.

In quarto

ТРЕХТОМНИК Бродского in-quarto
продать за ломаный сестерций,
устроить пир на радость сердцу,
а после пиррову победу,
брести по берегу вдоль бреда,
забыв планшет, часы и карту.

Как просто быть витиеватым,
живя как будто бы слегка.
Я – Пирр, в моих полках тоска,
в моих полях роса, мой косарь
пьет молоко и пишет глоссы
из Бродского. И даты, даты.

Читай Гомера, чаровница,
в твоих чертах троянский мальчик
(быть может, Гектор?) нежно плачет,
склонившись над страницей серой.
In-quarto, Пирр, печать офсетна.
Елена, снова Бродский. Лица
лицом к лицу. Сдаюсь и помню,
что ты моя сейчас и дальше –
троянский воин, милый мальчик
похож на всех солдат империй -
что здесь in-quarto окна, двери,
и пыльно как в каменоломне.

Меняю цвет знамен и право.
Я – Пирр, а, значит, всеоружен.
И в самой чертовой из дюжин
в пылу всемирного устройства
я выстою, имею свойство.
И снова Бродский. In-octavo.
И только ты...

Добер-апельсин

ЕСЛИ МЧАТЬСЯ быстро-быстро гордо-гордо
по саванне,
будто страус, будто птица, пряча голову в песок,
можно светлый мир построить на сплошном
самообмане
и носиться в этом мире взад-вперед-наискосок.
Поднимая пыль и ветер, по нему шуршать
ногами
и закидывать колючкой иноземных пришлецов
со своим чужим уставом и помятым оригами
на том месте, где обычно нарисовано лицо.
Можно прыгнуть с вертолета и зависнуть
апельсином
ярко-рыжим, ярко-красным,
ярко-сине-голубым,
а потом, забавы ради, завести себя в трясину,
или в чащу, или в гости к трубадуру без трубы –
выпить чаю, съесть конфету, почитать
Омар Хаяма,
с бестолковым трубадуром трубадурить
без ума,
выйти в месяц, в двери, в люди, вынуть ножик
из кармана,
констатируя, что в мире начинается зима:
мерзнут лапы, листья, кочки, чай, конфеты,
трубадуры,
индевеет оригами всеми складками витрин.
На меня вовсю глазеют рты раззявившие
дуры –
я свалился с вертолета — ярко-рыжий
апельсин!
Быстрый-быстрый, гордый-гордый без трубы,
но из саванны,
выпал снегом, вышел следом, заплясал
веретеном,

улыбнулся постовому с добер-мордой
добер-мана
и пошел, минуя зиму,
за цветами
в гастроном.

Липроцесс, или Давай про любовь...

НА ЭТОМ ОЛИМПЕ сидят золотые тельцы,
сосущие млеко из звездно-зернистой дороги,
их путь устилают сраженные единороги,
Гомеровы боги и, даже, аидовы псы.

Спокойно пасется навеки плененный Пегас,
лишенный и крыльев, и званий, и гордой
натуры.
Под крик полуночный надломленной
клавиатуры
роскошные дуры влезают, шутя, на Парнас.

Здесь все не про нас — мы не модны, и рожи
не те,
улыбки кривые, иным поклоняемся датам,
нас тычут носами в доступный картон самиздата.
А девки в халатах листают гламур в темноте.

Давай про любовь! Чтоб рыданием глотки свело
у девок и барышень сплошь по Тверскому
бульвару.
Да ноги дрожат, погляди, у конька-боливара, –
он вынес бы пару, но спину натерло седло...

И едут в телегах на этот треклятый олимп,
скрипя ободами, ползут рифмачей караваны.
Гомеровы боги и псы дружно бьют в барабаны,
набиты карманы, ладони в алмазной пыли.

На что нам с тобой — босоногим и еле живым,
напившимся всласть кислородных московских
коктейлей,
на что нам с тобой олимпийские сны, в самом
деле,
в которых Емели крылаты, как невские львы...

Давай про любовь.